

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ**

**ТРУДЫ
ПО
РОССИЕВЕДЕНИЮ**

Выпуск 6

Москва 2015–2016

О.В. БОЛЬШАКОВА

***КОНЦЕПТ «ЗАПАД» И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ
ОБРАЗЫ РОССИИ***

Противопоставление России Западу занимает центральное, даже системообразующее положение в политическом воображении нашего общества, все более склонного видеть мир в категориях «мы» и «они». Это противопоставление давно уже стало общим местом, оно кажется чем-то «естественным» и почти извечным. Историки, однако же, склонны датировать начало противостояния «замечательным десятилетием» 1838–1848 гг., когда в русском обществе громко звучали споры славянофилов и западников. Именно тогда, в пору становления «романтического национализма», были сформулированы две точки зрения на Россию и ее место в мире, вокруг которых вплоть до сегодняшнего дня вращаются общественные дискуссии о путях развития страны.

Для истории срок небольшой, но с точки зрения современного человека споры, длящиеся без малого два столетия, – почти вечность. Тем удивительнее накал страстей, превративших дискуссии в противостояние, которое пронизывает все сферы современной жизни, от семьи до «высокой» политики. Сегодня «Запад» стал главным действующим лицом в отечественном публичном дискурсе; официально он признан антитезой «российской цивилизации» и все реже выступает в качестве примера для подражания. Более того, поскольку под «Западом» подразумеваются прежде всего страны – члены НАТО во главе с США, речь идет о сопернике и потенциальном противнике. А с противника, как известно, пример не берут, – во всяком случае, не говорят об этом вслух.

Тем не менее критические голоса из «прозападного» лагеря еще не смолкли окончательно. В числе их аргументов чаще других звучат следующие: во-первых, Россия в силу целого ряда причин безусловно является частью Европы, во-вторых, «Запад» – разный, нельзя противопоставлять России чему-то неопределенному. Однако в данном случае как раз можно. Хотя большинство дискуссионщиков и не отдадут себе в этом отчета, речь идет о дискурсивном «Западе», которому противопоставляется дискурсивная «Россия». Иными словами, используются некие культурные

конструкты, которые в современных социальных и гуманитарных науках называют «концептами».

Столь востребованный сегодня в нашей стране социально-политический концепт «Запад» довольно сложен по своему составу и размыт: одновременно он может указывать на группу стран, на цивилизацию, на соответствующий образ жизни. В отличие от географического понятия, обозначающего направление и сторону света, концепт «Запад» имеет не только пространственное, но и временное измерение, поскольку включает в себя категории истории, современности и прогресса. Наполнен он и политическими коннотациями, отсылая к таким понятиям, как рациональность, свобода, демократия, конституционное правление, власть закона, средний класс, частная собственность, индивид и т.д. Обладая, как и любой концепт, ценностной и образно-метафорической составляющими, «Запад» приобрел в XX в. особенно сильную эмоциональную власть над умами. Он превратился в оружие политической борьбы, в инструмент для выковывания национальной идентичности, одновременно придав прежде универсальным идеалам пространственное измерение (наиболее очевидным примером является здесь «западная демократия») (29, с. 7–8). В зарубежных исследованиях истории России европоцентристский концепт «Запад» долгое время занимал центральное место, оказывая влияние на формирование определенных «историографических образов» нашей страны.

Надо сказать, что и сам концепт «Запад» имеет свою историю (и предысторию); на протяжении столетий все новые составляющие наслаивались друг на друга, образуя живое и изменчивое целое. Будучи по природе своей реляционным, т.е. существующим исключительно во взаимоотношениях с другими семантическими полями и категориями, «Запад» обретает свою дискурсивную силу и смысл благодаря «контрконцептам» – антонимам, которые носят асимметричный, подчиненный характер. Это прежде всего статичный, пассивный «Восток»; он выступает носителем негативных черт, не только противоположных, но и «нижних» по отношению к активному, динамично развивающемуся рациональному «Западу». Однако немаловажными на разных этапах являлись и другие антонимы, в частности такие идеологически нагруженные, как «восточное варварство», «восточный деспотизм», «азиатский способ производства» (29, с. 8).

Механизм бинарных оппозиций, структурирующий картину мира (где «верх» не существует без «низа», «правое» предполагает наличие «левого»), считается ведущим при конструировании идентичностей стран, народов, континентов, которые вырабатываются посредством концептуальной пары «Я–Другой». Примечательно, что Россия (как территориально-государственное образование и как социально-политический концепт) играла в этом процессе далеко не последнюю роль. Для «Запада» в разные исторические периоды она выступала в качестве конституирующего зна-

чимого «Другого»: путем отталкивания в западном сознании строился позитивный «автообраз» (см., в частности: 5, с. 14–15).

Попробуем заняться изысканиями в духе «археологии знания» и «истории понятий», чтобы реконструировать процесс формирования концепта «Запад», одновременно подчеркнув его неразрывную связь с Россией. Эта сопряженность отражается, в частности, в тех историографических образах, которые возникали и тиражировались в зарубежной науке. Не следует при этом забывать, что не менее значимым (и даже главным) «Другим» для европейцев являлась Турция. На протяжении веков она играла ведущую роль в оппозиции «Запад–Восток» – основополагающей для европейского (а затем и американского) политического воображения.

Таким образом, концепт «Запад» будет рассмотрен в его взаимосвязи с «Востоком», где дискурсивная «Россия» занимала двойственное положение, находясь, как известно, одной ногой в Европе и другой – в Азии. Историко-археологический метод позволяет выявить точки возникновения таких значимых концептуальных пар, как «Европа–Азия», «цивилизация–варварство», «прогресс–отсталость», которые стали интегральными составляющими оппозиции «Запад–Восток». Целый ряд входящих в нее понятий возникли еще во времена Античности, активно использовались в Средние века и в период раннего Нового времени, хотя означали не совсем то, что сегодня. Сама же эта оппозиция начала оформляться лишь в XVIII в. и ассоциируется с эпохой Просвещения. При всей неизбежной упрощенности попытка историзации позволит, с одной стороны, продемонстрировать относительность вроде бы «извечных» категорий, с другой – понять что-то о современной ситуации, которую никак нельзя назвать урядной.

Истоки оппозиции «Запад–Восток»

С эпохи Античности ведут свою историю названия частей света Европы и Азии. Их символические взаимосвязи формировались так же постепенно, как и границы. С накоплением новых, политических смыслов получает распространение противопоставление «Европа–Азия». Исследователи отмечают, что термин «Европа» вошел в употребление и приобрел свое политическое значение только во второй половине XVI в., когда активизируется процесс строительства европейской идентичности (46, с. 44; о формировании Восточной Европы см.: 3). Однако разделение на Запад и Восток в тот момент еще не было актуальным. Известно, что Ренессансу было присуще унаследованное от римлян разделение стран на цивилизованный Юг и варварский Север (включая Францию и Германию), и еще довольно долго Россию относили к странам Северной Европы вместе с Польшей, Швецией и Данией (3, с. 35–36). Отголоски этих воззрений про-

звучали в 1894 г., когда основоположник американской русистики профессор Гарвардского университета А.К. Кулидж призвал коллег к изучению «истории Северной Европы» (23, с. 1137). Во второй половине XX в. разделение на Север и Юг начинает вновь обретать актуальность в процессе глобализации, правда, полюса на этой оси поменялись местами. Теперь развитому Северу – Европе и США – противостоит неразвитый (отсталый либо развивающийся) Юг, однако эта оппозиция пока не стала доминирующей.

Из сказанного можно заключить, что центральное место в европейском структурировании окружающего мира по географическому, казалось бы, признаку занимает идея «развитости». Она оформилась в виде оппозиции «цивилизация–варварство», позволяющей утвердить собственное превосходство над «менее культурными» народами. Однако несмотря на кажущуюся древность происхождения, эта оппозиция принадлежит Новому времени. В Античности варварам противопоставлялись «мы» – жители греческого полиса и Римской империи¹, а неологизм «цивилизация» появился лишь во второй половине XVIII в. почти одновременно во французском и английском языках. Тем не менее образ варваров, живущих на периферии античного мира (для греческих авторов это была прежде всего Скифия, для римлян – северные районы Европы, Барбарикум), вошел в европейскую традицию довольно рано и стал значимым «Другим» для построения идентичности европейцев. В Средние века она выковывалась в противостоянии угрозе, шедшей с востока.

«Восток» как противоположность «Западу» являл себя в Средние века в образе сарацина эпохи Крестовых походов, который затем уступил место турку-осману, теснившему дряхлую Византию. Различия тогда лежали не в сфере политики, а в области веры, и первые военные столкновения европейцев с османами способствовали сплочению христианского мира – воображаемой *Respublica Christiana*. Турецкую угрозу изображали в апокалиптических тонах как последнюю атаку ислама на христианство – что не мешало европейским государям заключать союзы с султаном против своих соперников. Интересно, что обе стороны относились к своему союзнику как к «низшему», т.е. варвару, и не приходится говорить о каком-то равноправии отношений, строившихся на оппозиции «христианство–ислам». В то же время репрезентации других «варваров», явившихся после открытия Нового Света, – американских индейцев – выглядят куда менее враждебными, что объясняют отсутствием серьезного соперничества как в сфере военно-политической, так и религиозной (46, с. 48–49). С точки зрения европейцев, индейцы были не столько варварами, сколько

¹ Отмечается, что почти одновременно понятия «варвары» и «варварство» были сформулированы античной и китайской традициями. См.: 13, с. 5.

дикарями. Довольно скоро для их обозначения появляется формула «благородный дикарь» (*noble savage, bon savage*), получившая воплощение в художественной литературе.

Первые европейские описания Московии также относятся к эпохе Великих географических открытий и инспирированы не только появлением новой страны на европейской сцене, но и общим духом того времени с его интересом к далеким и ранее не известным землям. Довольно обширная *Moscovitica*, сложившаяся в течение XV–XVII вв., пестрит самыми экзотическими рассказами и сообщениями. Однако уже в этих текстах возникает совершенно определенный образ северной страны, которой управляет могущественный князь, а во всем покорное ему население, исповедующее восточную (греческую) веру, пребывает в дикости.

Московия не принадлежала к миру христианской Европы, а после отказа принять Флорентийскую унию и падения Константинополя в 1453 г. она становится фактически единственной независимой православной страной в мире. Исследователи отмечают, что вплоть до конца XVII в. Московия находилась на осадном положении: продолжались попытки папства вернуть ее в лоно христианства, Польско-Литовское государство теснило ее с запада, юг был блокирован турками-мусульманами, с севера выход к Балтийскому морю отрезан шведами (42, с. 19–20). Православие в этот период считалось «второсортным» христианством, объектом для презлелизма, и Московию все чаще начинают описывать в терминах отсталости и дикости, ассоциируя ее с Азией: с одной стороны, с древней Скифией, с другой – с татарами, от которых московиты унаследовали политический деспотизм.

В авторитетных «Записках о Московии» Герберштейна (1549) впервые было засвидетельствовано очевидцем, что государство «управляется деспотом и населено рабами» (48, с. 118). Герберштейн прямо заявил о «московской тирании», что, по мнению одних исследователей, полностью соответствовало действительности, по мнению других – требовало критики, поскольку иностранцы не могли разглядеть реальности за фасадом «русского политического театра» (см.: 34; 40; 50). Тем не менее сочинение Герберштейна получило невиданную для своего века популярность и стало не только главным источником информации о Московии, но и «предоставило интерпретативную оптику, через которую люди позднего Ренессанса видели Россию» (48, с. 119).

Собственно говоря, эта «оптика» была предоставлена еще Аристотелем, который указал на несовместимость деспотизма со свободолюбивым характером греков и, напротив, на соответствие этой формы правления характеру варварских народов – прежде всего враждебных персов, якобы имевших врожденную склонность к подчинению. Аристотель считал деспотизм исключительно восточным феноменом, в отличие от тира-

нии, которая являлась результатом вырождения монархии. К моменту путешествия Герберштейна в Московию политическая мысль Европы уже занималась разработкой концепции «восточного деспотизма», получившей столь широкое распространение гораздо позднее, в XIX – первой половине XX в.

Именно с этой точки зрения Макиавелли рассматривал возвысившуюся Османскую империю и указывал на полную несовместимость турецких форм и практик управления с французскими. Большой вклад в разработку концепции «восточного деспотизма» вносили путешественники в Персию, Индию, Китай и другие страны, расположенные восточнее Европы. Доставленный ими эмпирический материал способствовал выработке понятия «Восток», которое сыграло исключительно важную роль в самоидентификации Европы раннего Нового времени (см.: 44). В политической мысли европейцев, с одной стороны, утверждаются две тесно увязанные между собой концептуальные пары: «абсолютная монархия–республика» и «рабы–свободные граждане». С другой – формируется образ Востока как антитезы всему, что европейцы наблюдали вокруг себя.

Очевидно, что Россию можно было определить только с помощью первой части этих бинарных оппозиций – как абсолютную монархию, управлявшую подданными-рабами. Однако вопрос о ее принадлежности к Востоку, а тем более к Европе, оставался открытым – и прежде всего потому, что «Восточной Европы» как понятия во времена Герберштейна не существовало. Да и Герберштейн вслед за Страбоном проводил границу между Европой и Азией по реке Дон.

Век просвещения и прогресса

Возникновение концепта «Восточная Европа» исследователи датируют эпохой Просвещения, когда образ Европы в представлении современников обрел некую целостную форму и смысл, утратив непосредственную зависимость от христианской религии (3, с. 39). Наряду с «мысленным разделением» европейского континента на Север и Юг (особенно актуального в период Северной войны) возникают первые признаки представлений о западной и восточной его частях, граница между которыми была достаточно подвижной, перемещаясь от Рейна к Эльбе и Висле. При этом Россия оказывалась самой восточной окраиной Европы, простиравшейся до Уральских гор (правда, довольно часто ей отказывали в праве считаться «Европой», подчеркивая типично «восточные» ее черты – в особенности в политическом устройстве). По словам Ларри Вульфа, Россию, как и Восточную Европу в целом, считали «объектом» конструирования, а не «субъектом». Ее «открывали, прописывали, к ней относились со снисхождением, ее помещали на карте и определяли в соответствии с

теми же формулами: между Европой и Азией, между цивилизацией и варварством» (3, с. 51).

Концептуальная пара «цивилизация–варварство» является ключевой для эпохи Просвещения. Следует, однако, учитывать, что «цивилизация» в то время означала всего лишь «продвинутый уровень материального, интеллектуального и морального развития». Она понималась как кульминация движения от «дикости» (пример – американские индейцы) через «варварство» государств Азии и средневековой Европы к высокоразвитому образу правления (42, с. 28–29). В основе такого понимания лежала идея прогресса, зародившаяся в XVI–XVII вв. в период становления науки и светского мировоззрения, в борьбе с религиозной догматикой. Прогресс, означающий движение человечества вперед, от худшего к лучшему, стал основополагающей категорией, определившей систему координат современного европейского сознания.

Принято считать, что идея общественного прогресса обязана своим происхождением, с одной стороны, обрушившейся на европейцев в эпоху Великих географических открытий информации о разнообразных народах и государствах, с другой – ощущению линейности времени, обострившемуся в ходе революционных потрясений (сначала в Нидерландах, а затем в Англии). Стремлением как-то осмыслить единство человечества и обусловлено «изобретение» стадийности истории, получившее глубокую разработку в трудах французских просветителей (в частности, у Кондорсе). По общему мнению, на XVIII в. приходится триумф идеи прогресса, сформулированной в самом оптимистическом ключе: «все человеческие общества движутся естественно и закономерно вверх» – от нищеты, варварства, деспотизма и невежества к процветанию, цивилизации и разуму, «высшим проявлением которого является Наука» (53, с. 67). История обретает смысл и цель, универсальную для всего человечества – достижение счастья и благоденствия путем установления «разумного» общественного устройства (в той форме, которую полагали тогда разумной).

В соответствии с историческими воззрениями того времени считалось, что цивилизация «идет» сверху вниз, от просвещенной элиты к социальным низам. Кроме того, господствовало убеждение, что от варварства к цивилизации можно перейти в кратчайшие сроки, посредством энергичных усилий просвещенного правителя. Именно поэтому Петр I снискал восхищение Вольтера, который в своих «Истории Карла XII» (1731) и «Истории Российской империи в царствование Петра Великого» (1759–1763) представил Европе образ России, семимильными шагами движущейся к царству разума и прогресса (42, с. 27, 45). Вольтер изобразил Россию «пространством возможного», что во многом переключалось с формулировкой Лейбница (Россия – *tabula rasa*) (15, с. 36).

Действительно, в результате военных успехов Петра Россия становится великой державой, а его реформы так трансформируют институты и социум, что новая империя приобретает форму «просвещенной монархии» – типичного для тогдашней Европы «Старого порядка» (*Ancien régime*). Россия на равных входит в семью европейских наций; ее репрезентации как «страны будущего», где на огромных просторах возможно проводить самые смелые эксперименты в области управления, получают распространение в европейском публичном дискурсе (46, с. 78–79). Хотя образ Петра как способного ученика (перенесенный затем и на страну в целом) надолго утвердился в политическом сознании Европы, достаточно часто звучали и сомнения в способности русских усвоить ценности европейской цивилизации. Намеченной Вольтером «оптимистической» линии противостояло мнение, высказанное Монтескье и развитое другими философами. Не отрицая того, что Россия представляла собой некую *tabula rasa*, они подчеркивали отсутствие в ней слишком многого, что обеспечило Европе ее успехи (15, с. 36).

Однако в XVIII в. приговор еще не был окончательным – речь скорее шла о выявлении отличий, которые ярче высвечивали новые (буржуазные) черты европейских обществ. Одно из них выделил Вольтер в своем «вымышленном путешествии» в земли Восточной Европы – отсталость, выражавшаяся тогда в бедности, необразованности и грубости нравов. Понятие отсталости еще не обрело тогда своей пары и служило лишь подтверждением более низкого статуса государств, расположенных к востоку от Эльбы. При этом им не было отказано в праве рано или поздно достичь тех же высот, что и остальная Европа (3, с. 155).

Еще целый ряд тропов (метафорических формул) о России, которые впоследствии получили статус историографических клише, ведет свое происхождение из века Просвещения. Это, конечно, идеи Руссо о том, что цивилизация была привнесена в страну, для этого еще не созревшую, что она носила имитационный характер, что Петр пытался сделать из дворян немцев либо англичан, а не цивилизованных русских. Однако мыслители и политики XVIII в. не только подчеркивали близость России к Азии (а иногда и прямо указывая на ее азиатское происхождение) и высказывали сомнения в возможности цивилизовать огромную империю, населенную «татарами» и «камчадалами». Во второй половине века возникает образ России как «бастиона», защищающего Европу от Азии, – в первую очередь от мусульманской угрозы (46, с. 81–83). Основания для этого имелись: Россия участвовала в двух войнах с Турцией и значительно расширила свои владения на юге главным образом за счет Крымского ханства. Процветавший среди философов-просветителей культ Екатерины II, начало которому положил Вольтер, способствовал восприятию ее побед в первой русско-турецкой войне как триумфа не только России, но и цивилиза-

ции. Самое масштабное расширение российских владений трактовалось как исполнение цивилизаторской миссии. Никогда больше Европа, замечает М. Малиа, не реагировала на имперскую экспансию России с таким безразличием (42, с. 76, 78).

В глазах европейского общественного мнения Россия была в тот период «своей», когда речь шла о политике, дипломатии, об аристократии и образе жизни двора, где царили те же моды, что и в Париже. В то время как путешественники указывали в своих записках на чрезвычайно тонкий слой цивилизации, из-под которого проступает дикость, философы-просветители предпочитали говорить о том, что в России существуют два разных народа – просвещенное дворянство и «варварское» крестьянство. Не достает лишь третьего сословия, которое их соединило бы (46, с. 95). Троп об «отсутствующем среднем классе» и о пропасти между цивилизованным дворянством и народом сначала станет общим местом французской литературы (вспомним мадам де Сталь), а затем ляжет в основу исторических интерпретаций.

На протяжении XVIII в. в Европе все возрастало ощущение своей «европейскости» и своего превосходства. Оно реализовалось в первую очередь в противостоянии с Турцией, неуклонно терявшей военную мощь. Турция не была принята на равных в семье европейских держав, альянсы с ней по-прежнему считались не совсем хорошим тоном. При всем тогдашнем увлечении Востоком турки считались варварами, а политическое устройство их страны – далеким от норм цивилизации. Тот факт, что Турция не только воевала с Европой, но и заключала с ней дипломатические и военные союзы (в частности, против наполеоновской Франции), лишь укреплял представление о ней как о «Другом» в европейском сознании (46, с. 52, 57, 79).

В XVIII в. теоретически оформляется концепция «восточного деспотизма», которая ассоциируется сегодня с именем Шарля Монтескье. Известно, что термин «восточный деспотизм» возник во Франции времен правления Людовика XIV: в «памфлетной войне», когда подверглись критике авторитарные интенции королевской власти, короля-Солнце часто сравнивали с Великим Моголом (8; 44). В «Персидских письмах» (1721) Монтескье противопоставлял Восток Европе, а затем в «Духе законов» (1748) дал определение восточного деспотизма как особой формы правления. Его отличительной чертой является отсутствие законов и «промежуточных властей» – опосредующих институций, имевшихся в Европе и сдерживавших там самовластье монархов: привилегий дворянства, независимости судов, вольностей городов, гильдий и корпораций (12, с. 78). Подчеркивая жестокость и невежество восточных деспотов, чья власть покоилась на религии и требовала безоговорочного подчинения поддан-

ных, Монтескье указал на прямую связь между рабством и деспотизмом, что стало одной из центральных идей Просвещения.

Критикуя государственное устройство Франции, Монтескье дал систематическое исследование деспотизма в его связях с климатом, религией, экономикой и правом. Оно стало самым авторитетным для своего времени, определив круг понятий на многие десятилетия вперед. Однако для нас более значимо восприятие труда Монтескье, которое довольно быстро свелось к противопоставлению европейской приверженности свободе и азиатского деспотизма (см. целый ряд работ, в том числе: 3, с. 39, 137, 139). Позднее, когда радикально изменился общий исторический контекст, это упрощенное представление утвердилось в качестве стереотипа. И если для Вольтера «просвещенный абсолютизм» (как антитеза «восточному деспотизму») являлся одной из величайших ценностей, то в следующем веке эту форму правления оценят иначе, окрестив «просвещенным деспотизмом» (42, с. 45).

Для историографии же особое значение имеет линия, намеченная Дидро, который, в сущности, явился автором «либерально-буржуазной репрезентации» России во Франции, а затем и во всем мире (15, с. 51). Акцентируя отсутствие в России важнейших элементов – «посреднических институтов», третьего сословия, гражданских прав и защиты собственности, Дидро тем самым выявил основные черты буржуазной идентичности Европы. Он создал некий эталон, перекочевавший в следующий век и с малыми дополнениями существующий до сих пор.

Долгий XIX век: «Запад» и «Россия»

Сегодня Великую Французскую революцию считают водоразделом, открывшим эпоху Нового времени. Тогда наряду с индустриализацией, урбанизацией, развитием науки и секуляризацией возник национализм как идеология и государственная практика. В первые несколько десятилетий XIX в. Европа переживала кардинальные изменения, и процесс дальнейшего выстраивания ее идентичности приобретал особую остроту.

В области международных отношений наблюдалась определенная преемственность с предыдущим веком. Турция по-прежнему являлась для Европы значимым «Другим» – Восточный вопрос оставался одним из узловых и в первой половине века. Однако после Крымской войны Османская империя официально принимается в сообщество европейских держав (что, правда, не означало ее равенства с «цивилизованными государствами»). Характерно, что сама Блистательная Порта перестает считать Европу чем-то «низшим», признав ее военное, экономическое и политическое превосходство, и включается в «гонку за лидером» (46, с. 55). К концу ве-

ка Османская империя утрачивает стратегический вес. У России в XIX в. была другая история.

После наполеоновских войн, закончившихся триумфом русских войск и созданием Священного союза, проблема европейской идентичности оказалась тесно увязана с соображениями о балансе сил, где роль России была более чем существенной. Однако положение ее в семье европейских наций оставалось двусмысленным. Казаки, раскинувшие в 1814 г. свои походные шатры в сердце Франции, оживили в стратегическом дискурсе Европы образ «варвара у ворот». Двойственное положение России ощущалось и ее императорами: их поведение на международной арене создавало у союзников впечатление постоянных попыток акцентировать свою европейскую идентичность (там же, с. 91). Самый яркий пример – широко известное высказывание Николая I, назвавшего Турцию «большим», который отягощает Европу и чью смерть «нам» никак нельзя допустить. С той же целью Россией неустанно подчеркивается «восточный» характер Порты. Впрочем, стратегию «ориентализации Другого» использовали и в других странах, но уже по отношению к России: в Германии, прокладывавшей «особый путь» между Западом и Востоком (Восточной Европой), и в Польше, борющейся за место под солнцем.

Процесс построения европейской идентичности в первой половине века протекал на фоне идеологической борьбы, отличавшейся высоким эмоциональным накалом. Развитие либерализма, возникновение классового мышления, рост коммунистической и социалистической идеологии резко меняют общественный климат. По наблюдению М. Малиа, и внешняя политика не была лишена своего рода экзальтации: соперничество на международной арене подавалось в духе манихейской борьбы добра со злом. Волны революций, захлестывавших Европу, привели к тому, что события в какой-то одной стране не могли более считаться ее внутренним делом, угрожая стабильности соседей. В этих условиях российское самодержавие, прежде воспринимавшееся как один из европейских «Старых режимов», начинает выглядеть анахронизмом. Стремление Николая I к реставрации подобных режимов по всей Европе убеждало европейцев в агрессивности «закоснелой русской реакции», превращавшейся в главного врага европейской свободы. В представлениях европейцев Россия обретает черты «чуждой цивилизации», противостоящей Европе и ее утверждающимся демократическим ценностям. Особенно много для внедрения в европейское общественное мнение негативных образов России сделала Польша после восстания 1830 г. Тогда же в Европе формулируется аксиома, что деспотизм и рабство внутри страны неизбежно порождают агрессию и внешнюю экспансию (42, с. 93–94, 98–99).

Отмечая, что в 1830–1840-е годы складывается набор (репертурий) стереотипов о России, доживших до сегодняшнего дня, исследователи вы-

деляют три линии интерпретаций: консервативную, либеральную и социалистическую (радикальную). При этом часто упускается из виду то обстоятельство, что в контексте набравшего силу национализма метафорические формулы века Просвещения отступают перед агрессивными этническими стереотипами, но все же не сдают своих позиций. В большей степени они сохраняются в либеральном дискурсе, хотя в этот период он и сосредоточен в основном на негативных оценках, фиксируя в России отсутствие конституционного строя и других важных примет «цивилизации».

Однако правит бал в европейском общественном мнении набирающая силу русофобия. Русофильские голоса станут слышны значительно позже, а пока лишь консерваторы-легитимисты в своих рассуждениях о России удовлетворяют ностальгию по Старому режиму, да открытие «русского мира» бароном Гакстгаузеном вносит новую романтическую ноту в европейский дискурс. Природа дискурсивных конструктов такова, что русскую крестьянскую общину одни трактовали как признак умилительной патриархальности, другие – как указание пути в социалистическое будущее, а третьи видели в этом реальную «коммунистическую угрозу» цивилизации. В целом же по «русскому вопросу» возникает единодушие, в первую очередь между консерваторами и левыми радикалами – достаточно вспомнить резкие высказывания Маркса. Российская «азиатчина», «восточные» корни самодержавия и «византийский» мессианизм – все эти преимущественно политические характеристики дополняются рассуждениями о природных свойствах славянства (хотя «националистический», или «расовый», дискурс сложится и проявит себя в полной мере только к концу века).

В то же время не стоит забывать, что негативные репрезентации российской монархии отражали европейскую политическую повестку дня; их нельзя отрывать от общих размышлений о том, что такое Европа, что с ней происходит и куда она идет. В контексте усилившегося пессимизма относительно перспектив «дряхлой» Европы, отравленной индивидуализмом, продолжается дальнейшее осмысление понятия цивилизации. Франсуа Гизо в курсе лекций «История цивилизации в Европе», прочитанных в Сорбонне в 1828 г., фактически сформулировал то, что позднее начали называть «европоцентризмом». Указав, что все государства проходят один и тот же путь и в своем развитии стремятся к одной цели, он выстроил иерархию стран, каждая из которых оценивалась соответственно близости к идеалу – Франции. Таким образом, понятие «европейская цивилизация» приобретало черты политической идеологии (27, с. 56–57).

Кроме того, присущее веку Просвещения представление о Европе как одной универсальной цивилизации было дополнено в наступившую эпоху романтизма понятием о цивилизации как множественности особых национальных культур. Так, в осознававшей свою отсталость Германии

национальная культура – «моральная, духовная и глубокая» – противопоставлялась «бездушной, рассудочной» цивилизации Англии и Франции (42, с. 107).

Категория прогресса дополнилась в XIX в. понятиями «эволюции» и «развития», в равной мере приложимыми к живой природе и к обществу. Однако в представлениях об эволюции общества особую роль играет категория свободы, которая при всем спектре ее значений, от абстрактного до утилитарного, понималась как противоположность рабству (и, следовательно, деспотизму). К середине века был выработан исторический канон, согласно которому тысячелетняя история Европы представляет собой восхождение человечества к свободе. Основные вехи на этом пути – феодализм и рыцарство, Ренессанс и Реформация. Затем в игру вступает средний класс (третье сословие) – главный двигатель общественного прогресса, обеспечивший Европе политическую свободу (конституционное правление). Россия никак не вписывалась в эту схему, выступая антитезой европейскому прогрессу. Ее чаще всего просто не упоминали – как Гегель или фон Ранке, который, собственно, и создал схему европейской «романо-германской» истории.

Параллельно происходит процесс трансформации пространственно-го понятия «запад» в социально-политический концепт «Запад», подразумевавший в XIX в. в основном Западную Европу¹. В ее противостоянии с остальным миром формировались такие концептуальные пары, как «Запад–Восток» (в которой не только Россия, но и Пруссия, и Австрия зачастую занимали промежуточное положение между «истинным Западом» и «истинным Востоком» – прежде всего Турцией) и «Россия–Европа» (особенно актуальная для российских мыслителей). Нашумевшая книга Алексиса де Токвиля обратила внимание общественного мнения на еще одного поднимающегося игрока на международной арене – Соединенные Штаты Америки. Вопрос об их включении в семью цивилизованных стран уже дебатировался политиками и публицистами (10). Противопоставляя Америку и Россию в своей известной формуле («В Америке в основе деятельности лежит свобода, в России – рабство»), Токвиль при этом обнаружил много сходства между двумя великими странами, каждой из которых «провидение втайне уготовило стать хозяйкою половины мира» (10, с. 296). Однако присутствие Америки в европейском дискурсе было пока минимальным, в то время как России не просто отводилось ведущее место антитезы: фактически она находилась в самой гуще дискурсивных «событий».

¹ Характерно, что пространственное измерение постоянно присутствует в политическом дискурсе – взять хотя бы определение цивилизации как сочетания «английской коммерции и французской свободы». В годы Крымской войны входит в общее употребление термин «западные державы», закрепивший особую географическую общность в сфере международных отношений.

Дискурсивное пространство Европы было тогда единым; циркуляция идей, общих мест и ходячих мнений шла с большой интенсивностью, создавая свои смыслы в каждой национальной культуре. Все участники этого взаимообмена были значимы, однако следует отметить особую роль Германии в формировании как русской мысли¹, так и общеевропейских представлений о том, что есть «Запад». Наложила свой отпечаток и англо-французская русофобия, берущая, по мнению Р. Баваджа, начало с 1820-х годов и унаследованная веком двадцатым. Критика России активно способствовала кристаллизации понятия «Запад» в его социально-политической ипостаси (18).

Существует несколько интерпретаций взаимоотношений России и «Запада». Одни исследователи полагали, что «русские с удивительной легкостью заимствовали мнения о себе западных наблюдателей и применяли их к анализу собственной страны» (48, с. 111). Другие писали о том, что «Запад» как точка отсчета настолько прочно вошел в историю и культуру России, что его уже невозможно выбросить вон (19, с. 556). Третья интерпретация указывает на русское происхождение концепта «Запад», возникшего в ходе жесткой критики «загнивающей» Европы, которая была услышана ее адресатами². Однако скорее речь в данном случае должна идти о циркуляции идей – например, имеются свидетельства о русских вдохновителях знаменитой книги маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году», и не только о Чаадаеве (см.: 9).

Датируя возникновение социально-политического концепта «Запад» XIX в., исследователи указывают на такие узловые моменты его выработки, как дискуссии славянофилов и западников в России, Крымская (Восточная) война и 1870-е годы (подъем идеологии панславизма). При этом все сходится во мнении, что споры о Западе и взаимоотношениях с ним являлись важнейшей составляющей в формировании русской идентичности в век национализма. В ходе этих дебатов вырабатывается основополагающее противопоставление русской «веры» и «души» западной «рациональности» и «расчетливости», формируется миф о коллективизме русского народа («соборности») в противовес европейскому «индивидуализму». В то же время следует подчеркнуть, что русская идентичность выковывалась параллельно с европейской, во взаимодействии с ней и во взаимоотталкивании: с одной стороны, по тем же законам бинарных оппо-

¹ См. работы Н. Рязановского, А. Валицкого, А.Л. Зорина и др. Однако идеи о «загнивающем Западе», активно проникавшие в русский дискурс из Западной Европы, были почерпнуты главным образом из консервативной французской прессы «второго эшелона» (4, с. 26–76).

² Считается, что первым термин «Запад» как обозначение некоего культурно-исторического единства, противоположного «России», употребил в своем «Философическом письме» Чаадаев, заменив им географически неоднозначный термин «Европа» (35, с. 33).

зиций, которые современные исследователи берут за основу своего анализа, с другой – в диалоге. Соответственно выстраивалась и схема русской истории, которая основывалась на тех же категориях цивилизации и прогресса, понимаемого как движение вперед.

В 1830–1850-е годы получают дополнительную разработку другие компоненты концепта «Запад». Понятие свободы конкретизируется в токилевской модели либеральной демократии, которая принимает очертания актуальной цели. Для ее достижения виделись два пути: эволюционный (англосаксонский, и прежде всего американский) и революционный (европейский континентальный). Предполагалось, что ассоциации граждан по американскому образцу – зачатки гражданского общества – возьмут на себя функции защиты индивида от государства и станут своего рода школой свободы (12, с. 79). Свобода индивида провозглашалась высшей целью общественного прогресса и ассоциировалась с Америкой (где в это время благополучно существовало рабство в самом своем классическом, «плантаторском» варианте).

Основополагающее место в концепте «Запад» заняла частная собственность – во многом благодаря Марксовой теории об азиатском способе производства. Продолжая линию Монтескье и Гегеля, автор «Британского управления в Индии» пришел к выводу, что отсутствие права частной собственности (поскольку всем владеет суверен) является основой политической системы восточного деспотизма и ведет к стагнации. Теория Маркса придала прогрессу материальное измерение, которое станет особенно актуальным в следующем веке.

Однако наиболее влиятельным в середине XIX в. было учение Огюста Конта об универсальных законах общественного развития, в котором институт частной собственности занимал центральное положение. Конт полагал, что на смену отсталым средневековым крестьянским обществам, погрязшим в невежестве и религиозных предрассудках, придет царство «экспертов», поставивших себе задачей создание процветающего индустриального рая для индивидов-собственников. Образованная элита станет авангардом, самой судьбой предназначенным для того, чтобы поднять мир из средневековой отсталости и повсеместно победить «врагов Разума» (38, с. 94–95). Рациональный экономический строй, организованный на научных началах под лозунгом «Порядок и Прогресс», был признан той нормой, к которой с разной скоростью движутся все участники мирового исторического процесса.

Понимание западной цивилизации как совокупности «европейских ценностей и институтов» включало в себя также идеи о господстве права (власть закона – rule of law) и правовом государстве. Во второй половине XIX в. правопорядок (законоправство) обретает статус некоего «золотого стандарта» цивилизованности, который вырабатывали и закрепляли юри-

сты – специалисты в области активно развивавшегося международного права. Требования к государствам, претендующим на членство в европейском «клубе наций», включали в себя защиту основных прав индивида (жизни, достоинства, свободы передвижения, торговли и религии); наличие организованной и эффективной бюрократии; справедливую судебную систему, развитые кодексы уголовного и публичного права и многое другое (в том числе объявление рабства вне закона) (46, с. 56).

Надо сказать, что после Великих реформ Россия вполне соответствовала этим достаточно размытым критериям. «Рабство» – крепостное право – «пало без единого выстрела» (в отличие от Америки). Были созданы новые суды, система земского и городского самоуправления, вместо рекрутчины введена всесословная воинская повинность, делала большие успехи наука и образование. Перспективы сближения России с европейским миром оцениваются все более благосклонно, особенно в свете достижений русской культуры, которая выходит в пореформенный период на мировую арену. Развитие революционного движения в России, которое стало главной темой для обсуждения европейским общественным мнением в 1870–1880-е годы, также подчеркивало, что империя идет тем же путем, что и другие страны Европы.

Тогда же появляются первые, как считается, профессиональные научные работы, посвященные России. Наиболее известные – «Россия» сэра Уоллеса Маккензи и «Империя царей и русские» Анатоля Леруа-Больё, которые вошли в золотой фонд россиеведения и стали важным источником для зарубежных исследователей императорской России (41; 56)¹. Оба автора начинают историю России с Петра I и рассматривают ее с точки зрения «догоняющего развития», как сказали бы сегодня. Взвешивая шансы России догнать Европу, и Маккензи, и Леруа-Больё расценивают их как весьма благоприятные. По их мнению, Великие реформы значительно приблизили Россию к этой цели, но не позволили окончательно достичь ее, поскольку впереди – трудная задача введения народного представительства и долгие годы обучения парламентаризму.

Удивляющие современных исследователей благожелательность и взвешенность новых исторических сочинений о России были обусловлены несколькими факторами. Во-первых, успехами страны, как экономическими – планы строительства Транссибирской магистрали поражали воображение европейцев, – так и в области культуры. Во-вторых, распространением информации о России, нараставшей в геометрической прогрессии: ее посещают европейцы и американцы, издаются многочисленные описания и записки путешественников, печатаются корреспонденции. В 1870-е годы

¹ Известно, что труд Леруа-Больё, особенно второй и третий тома, запрещенные в России цензурой, использовались и цитировались Джаншиевым, Корниловым, Кояловичем (14, с. 7).

«загадочная русская душа» заговорила на английском, французском, немецком и других языках в романах Толстого и Достоевского. В-третьих, изменяется система международных отношений в Европе, где возникают три зоны: «зрелые либеральные государства» (Англия, Франция и все теснее примыкающие к ним Соединенные Штаты) – «истинный Запад», по словам Мартина Малиа; «смешанный мир», получивший вскоре название Средней Европы; и реформированная, но по-прежнему старорежимная Россия. Фактически, ей теперь должны были бы противостоять два «Запада», ближний и дальний, однако острота противостояния явно снижается (42, с. 164).

В последней трети XIX в. Россия перестает быть конституирующим «Другим» для Европы. Эту роль в век империализма и первой волны глобализации начинают играть колонии (а точнее, информация о них, поступающая от востоковедов, о которых писал в своей знаменитой работе Эдвард Саид) (52)¹. Присоединив огромные пространства Средней Азии, Российская империя осуществляла там «цивилизаторскую миссию» того же рода, что Британия – в Индии, а Франция – в Северной Африке. В изменившемся контексте даже очередное обострение Восточного вопроса – Восточный кризис и русско-турецкая война 1877–1878 гг. – не вызвало по-настоящему серьезных всплесков русофобии. Правда, идеи панславизма представили новые козыри тем, кто боялся «русского мессианства». Внеесли они свой вклад и в развитие расового дискурса, главным образом в Германии, где идеи о «дегенеративном славянстве», которое следует обуздать (а в перспективе и поработить), получают все более широкое хождение².

В этот период концепт «Запад» отходит в европейском дискурсе на задний план³, а на рубеже веков обретает и новую конфигурацию. Смещаются акценты, изменяются вес и значение таких основополагающих его компонентов, как цивилизация и прогресс, пополняется он и новыми понятиями, которые также носят нормативный и этически нагруженный характер. Теряет свою актуальность оппозиция «цивилизация/варварство» (правда, ненадолго – до начала Первой мировой войны). Зато в англоязычном мире на пороге XX в. получает все более широкое распространение идея «западной цивилизации», не лишенная мессианского колорита. Она автоматически отодвигала в тень концепт «Европа» и подчеркивала зна-

¹ Первый конгресс востоковедов состоялся в 1873 г. в Париже.

² Характерно, что расовый дискурс наиболее активно развивался в только что объединенных, новых государствах Германии и Италии, а вовсе не в «старых» империях, таких как Британия или Франция.

³ В целом дискурсивная роль «Запада» и не была еще столь сильна, как в XX в. Подсчитано, что в своей трехтомной «Империи царей» Леруа-Больё гораздо чаще называет Россию северной, а не восточной страной (16, с. 606–607).

чимось Британской империи, всегда занимавшей особое положение по отношению к «Континенту» (30, с. 57).

Одновременно тема прогресса выходит на первый план. Она становится своего рода идеей фикс в эпоху «высокой» модерности, когда стремительно развивается наука, транспортная революция делает доступными самые отдаленные уголки земного шара, индустриализация и урбанизация кардинально меняют мир. Категория прогресса приобретает новое измерение – «научно-техническое», неразрывно связанное при этом с улучшением условий жизни людей и с понятием «современность» (modernity). Ход времени невероятно ускоряется, возникает своего рода одержимость современностью, которая противопоставляется «традиции» – этому препятствию на пути к светлому будущему. При всей критике «темных сторон модерности» и «индивидуализма современного человека» повсеместно присутствует общее ощущение неумолимого движения человечества вперед – и страх отставания (см.: 17). Именно в эпоху высокой модерности становится крайне актуальным концепт отсталости как противоположности развитию. Приняв форму категорического императива, он во многом предопределяет дальнейший ход истории (особенно в России).

Концептуальные пары «отсталость–развитие», «традиция–современность», «невежество–просвещенность», в идеологической сфере представляющие как «реакция–прогресс», образуют своего рода понятийный каркас, структурирующий публичный дискурс рубежа веков. В этом контексте и рождается идея модернизации, отодвигая в сторону понятие «европеизации». Эстер Кингстон-Манн выдвинула гипотезу о складывании в России начала XX в. специфической «культуры модернизации», не признающей идеологических барьеров и определявшей конфигурацию общественных дискуссий в стране. Подчеркивая параллели между Россией и Западом, их участники усматривали в отсталом «средневековом» русском крестьянстве главное препятствие прогрессу, а в утверждении и защите права частной собственности – основу для успешной модернизации и развития (38, с. 4).

Частная собственность все теснее коррелирует со свободой, ассоциирующейся с «Западом», – свободой предпринимательства и свободой личности одновременно. Экономика повсеместно выдвигается на первый план, даже в сфере международных отношений дискуссии вращаются вокруг экономических вопросов (в повестке дня, говоря словами Ленина, – «империализм как высшая стадия капитализма»). Наряду с частной собственностью еще одним «двигателем прогресса» начинают признавать национальное государство, легитимность которого покоится на принципе гражданства. Его актуальность и «нормативность» вскоре подтвердились фактом распада континентальных империй (Российской, Османской и Габсбургской), т.е. «архаических» форм, не соответствовавших критериям «современности».

Таким образом, в начале XX в. сложился определенный набор понятий, описывающих современность в ее тесной связи с прошлым и будущим: прогресс (научно-технический и материальный), права и свободы личности, частная собственность, свобода предпринимательства, национальное государство, верховенство закона, конституционализм. Все они являлись пространственно-ориентированными и указывали на запад – там находились страны, обладавшие перечисленными признаками современности и признанные маяком для человечества. В совокупности эти понятия определили содержание социально-политического концепта «Запад»¹. Его притягательность заключалась в способности упрощать сложное, сводя разнообразие народов и культур к общему знаменателю абстрактных, но всем понятных «европейских» норм и ценностей, а также в его объединительном потенциале, позволяющем сплотиться как вокруг этих ценностей, так и против того или иного «врага». Однако свою непреодолимую силу концепт «Запад» проявит гораздо позже, под влиянием новых исторических обстоятельств и с выходом на международную арену нового игрока – Соединенных Штатов Америки.

Короткий XX век: Борьба и самоопределение двух систем

Начав после Первой мировой войны преодолевать свою традиционную позицию изоляционистской самодостаточности, США по окончании Второй мировой войны входят на правах «первого среди равных» в Атлантический мир. Отныне он и символизирует «западную цивилизацию».

В межвоенный период продолжалось постепенное сближение Англии и США, и в «воображаемой географии» двух стран формируется то, что стали называть «Англосферой». Этому способствовали многие факторы, в том числе обретение Соединенными Штатами статуса экономической мировой державы, а также бурное развитие технологий в области транспорта и коммуникаций, что резко сократило прежде труднопреодолимую дистанцию между континентами (18, с. 17–18). Однако для того, чтобы Атлантика превратилась из «границы» между Европой и Америкой в «мост», их соединяющий (54, с. 13), потребовалось пережить Вторую мировую войну. Охватив оба полушария, она просто вынуждала мыслить глобально. В военные годы значительно расширяются горизонты прежде достаточно провинциального, сосредоточенного на себе американского общества, меняется его представление о самом себе. На смену американской исключительности (exceptionalism) приходит идеология либерального универсализма, начинается активный поиск общих черт, способных объединить союзников и противников в новом послевоенном мировом по-

¹ Как отмечают исследователи, понятие «западной демократии» кристаллизуется позднее, в окопах Первой мировой (см.: 29, с. 17).

рядке, строительство которого намеревались возглавить США (см., в частности: 26).

В 1940-е годы начинает воплощаться в жизнь идея «Атлантического сообщества» (Atlantic community). На дискурсивном уровне это означало переформатирование концепта «Запад», определявшего к этому времени систему представлений и взаимоотношений в мире. Отныне центром силы должна была стать Америка, а не европейские страны. Она приложила массу усилий для того, чтобы кажущийся сегодня «естественным» термин «Атлантическое сообщество» стал реальностью. Его рождение явилось результатом целенаправленной внутренней и внешней политики США, борющихся за политическую, военную, экономическую и культурную гегемонию в рамках этого воображаемого «Запада» (43, с. 72).

Процесс построения нового сообщества, увенчавшийся созданием Североатлантического союза (НАТО) в апреле 1949 г., был непростым и, как все яснее становится с увеличением временной дистанции, болезненным для Соединенных Штатов. Еще более тяжелым он был для разрушенной войной Европы, где, собственно, и прокладывались новые географические, политические и идеологические границы между «Западом» и «Востоком». Понадобились большая дипломатическая и разведывательная работа, многочисленные консультации, взаимные демарши и уступки, прежде чем стало окончательно ясно, что Советский Союз действительно остается по другую сторону «железного занавеса», о падении которого возвестил Черчилль в своей фултонской речи. Холодная война расколола бывших союзников в борьбе с фашизмом, да и весь мир, на два лагеря: капиталистический Запад и коммунистический Восток.

Конечно, антитеза «капитализм–коммунизм» стала реальностью в международной политике еще в межвоенный период, но тогда она была наиболее значима для СССР, строившего социализм в отдельно взятой стране (см., например: 21), и для Германии. В государствах, которые традиционно означали либеральный «Запад», в 1930-е годы оформляется другая бинарная оппозиция: идеологическое противостояние «свободного мира» и тоталитаризма – тогда, как пишет Питер Новик, в его нацистском воплощении (47, с. 310). «Русская» и «германская» проблемы были тогда внутренним делом Европы, еще представлявшей собой единое культурное и дискурсивное пространство, и вносили раскол в «европейскую цивилизацию». После войны, по общему мнению, решать эти проблемы были в состоянии только Соединенные Штаты (54, с. 14).

Одним из инструментов консолидации с Европой американцы (и прежде всего президент Трумэн) избрали христианство как фактор, способный объединить западный мир путем жесткого размежевания с СССР – этой атеистической «империей зла». Стратегия оказалась успешной, о чем среди прочего свидетельствовала победа христианско-демократических

партий в европейских странах. Использование христианства в риторике холодной войны позволило значительно драматизировать ситуацию в духе манихейского конфликта добра и зла и в конечном итоге привело к политизации христианской доктрины (39, с. 412). Таким образом, место стиринной концептуальной пары «христианство–ислам» заняла асимметричная оппозиция «христианство–атеизм». Ее вторая, «слабая», т.е. негативно заряженная часть, относилась к «Востоку», получившему теперь новую конфигурацию: он включил в себя СССР и государства, входившие в сферу его влияния.

Общее наследие стран, лежащих по разные стороны Атлантики, не исчерпывалось христианством: Америка начинает подавать себя как наследницу «великих принципов западной цивилизации». При этом усилия американских политиков и публицистов в большей степени были направлены вовнутрь, на изменение представлений американцев о себе и месте своей страны в мире. Наряду с пропагандистскими публикациями в прессе в учебную программу университетов в качестве обязательного вводится курс «западная цивилизация», демонстрирующий органическое единство Нового и Старого Света. Если раньше американцы тщательно фиксировали свои отличия от Европы, выстраивая собственную идентичность как антитезу Старому Свету (хотя и считали Америку «кульминацией давней и великой европейской традиции») (45, с. 4), то теперь проводится мысль о единстве истории и судьбы. Более того, ставится знак равенства между антигитлеровской коалицией и западной цивилизацией. Это дало основания для исключения бывшего союзника – СССР, который, как было уже признано, к этой цивилизации не принадлежал (47, с. 317). Советский Союз стали считать новейшим и наиболее опасным проявлением вековечного русского деспотизма, на основании чего делался вывод о неизбежности российского и, следовательно, советского экспансионизма.

СССР тоже не оставался в долгу: в Европе и Азии, а затем и по всему миру шла огромная работа по созданию «социалистического лагеря» (из стран, которые на Западе стали называть государствами–сателлитами Советского Союза). Драматическая история формирования «Восточного блока» уже хорошо известна, как и та цена, которую заплатило за советизацию население этих стран. Здесь же хотелось бы подчеркнуть симметричность не столько геополитических (НАТО / Варшавский договор), сколько идеологических реалий, не ограничиваясь при этом областью борьбы с инакомыслием (маккартизм / кампания против космополитизма и низкопоклонства перед Западом). И в США, и в Советском Союзе организуется целая индустрия по взаимному обличению. Причем центральное место в идеологическом оформлении соревнования двух систем заняла история – как наука и как память о прошлом.

Начавшееся противостояние двух держав в биполярном мире воспринималось тогда многими как проявление более глубокой, фундаментальной конфронтации Востока и Запада, коренившейся в далеком прошлом. Россия, а точнее, ее преемник – Советский Союз – вновь начинает играть роль значимого «Другого». Восприятие России как олицетворения «Востока» помогало сформировать собственный образ и понимание себя как «Запада». В первые послевоенные годы «ориентализация» России (и Восточной Европы) стала господствующей метафорой, во многом определив процесс самоидентификации Западной Европы и США в условиях конфронтации с восточным соседом и соперником (32, с. 451). Большое значение для формирования публичного дискурса имели работы эмигрантов из Восточной Европы, в том числе и переводные, активно издававшиеся в Великобритании и США (например: 33; 37). По наблюдению Марка фон Хагена, именно эмигранты насаждали убежденность в том, что Азия начинается в России. При этом восточной границей Европы назывались Германия, Польша или Украина – в зависимости от того, откуда прибыл эмигрант-ученый (32, с. 450).

Особую популярность приобрела тогда теория восточного деспотизма. Ее «реинкарнация» наиболее фундаментально представлена в книге Карла Виттфогеля – бывшего члена Коммунистической партии Германии, после эмиграции в США ставшего яростным антикоммунистом (57). Виттфогель делил общества на полицентричные «свободные» западного типа, основанные на праве частной собственности, и на моноцентричные восточные – деспотические, в которых права и свободы личности, в первую очередь право собственности, неуклонно подавляются. В нагруженной политическими штампами и предрассудками эпохи холодной войны книга Виттфогеля явственно проглядывают и опасения Запада по отношению к СССР и его политике в странах Восточного блока («бацилла восточного деспотизма»), и неприятие «тоталитарной» природы царского и советского режимов. Издавна бытовавшие на Западе представления о российской «азиатчине» получили здесь «строго научное» обоснование.

Еще больший вес в первой фазе холодной войны имела теория тоталитаризма. Составляя фундамент «контридеологии свободного мира», она служила своего рода мобилизующим лозунгом и военизировала общественное сознание. В 1940–1960-е годы тоталитарная модель претендовала на господствующее положение и в научных исследованиях России / СССР, но специалистам довольно быстро стала ясна ее ограниченная ценность (47, с. 281).

Антисоветизм второй половины 1940-х – начала 1950-х годов во многом напоминал русофобию 1830–1840-х, однако с одним существенным отличием: в США, а затем и в Европе начинает развиваться серьезное профессиональное знание о России. Глубокое изучение прошлого и на-

стоящего Советского Союза отвечало первостепенным национальным интересам США, и во второй половине 1940-х годов на базе уже существовавших в университетах славистических структур и параллельно с ними стали открываться крупные научные центры. В 1946 г. организуется Русский институт в Колумбийском университете (позднее Гарримановский), а в 1948 г. – Русский исследовательский центр в Гарварде, послужившие образцами для других американских университетов. Большую роль в них играли русские эмигранты, передававшие традиции русской дореволюционной историографии своим американским ученикам. К 1964 г. было уже 33 таких центра, и их количество продолжало расти; докторские и магистерские диссертации исчислялись сотнями (25, с. 82–83).

Изучение Советского Союза и стран Советского блока велось в рамках так называемых региональных исследований (area studies) – междисциплинарных по своему характеру, построенных на цивилизационном подходе. Новая дисциплина Russian studies была нацелена не только на анализ политики СССР, но и на исследование страны в целом: народа и его прошлого, экономики и социальной структуры, языка и литературы, властителей и идей. Начала она укореняться и в Европе, в особенности в ФРГ, где центры по исследованию СССР и Восточной Европы выполняли функцию форпоста в идеологическом противостоянии с ГДР (36, с. 46).

Создавая новое научное знание о почти не знакомой и полностью закрытой для них стране, представители первого послевоенного поколения русистов стремились преодолеть вековые стереотипы о России и русском характере, которые пошли в ход в этот период (в частности, наиболее одиозные «формулы» де Кюстина). Известно, что лекция британского антрополога Джеффри Горера, автора печально знаменитой теории о пеленании русских младенцев, была резко раскритикована в Гарварде (25, с. 47), что не помешало ему, однако же, опубликовать в 1949 г. и множество раз переиздать книгу, получившую самую широкую популярность (31). К сожалению, его самые яркие выводы о причинах пассивности и мазохизма русского народа были с готовностью восприняты публикой, видевшей в России полную противоположность Западу.

Необыкновенную жизнеспособность обыденного стереотипа приобрела и доктрина «Москва – Третий Рим». Она оказалась исключительно востребованной в годы, когда американский мессианизм – убежденность в своем предназначении нести свет свободы во все страны мира – начинал разворачиваться в глобальном масштабе. Крайне популярная в послевоенной советологии (наряду с опричниной Ивана Грозного и нечаевщиной) концепция «Москва – Третий Рим» служила тогда объяснением российского мессианства и имперского экспансионизма. Это «оружие холодной войны» критиковали многие – от русских историков-эмигрантов (М.М. Карпович, Н.И. Ульянов) и советских историков (включая Д.С. Ли-

хачева) до американца Маршалла По (6; 7; 11; 49 и др.). Последний показал, что в конце XVII в. упоминания о «Третьем Риме» исчезают из русской мысли, чтобы появиться уже в 1860-е годы, когда впервые были опубликованы соответствующие источники. Тогда русские историки и подняли риторическую фигуру, использованную монахом Филофеем в послании Василию III, на уровень идеологической доктрины. Идея приобрела политическое звучание в контексте Восточного кризиса и расцвета панславизма, а к концу XIX в. «мессианское» понимание идеи «Москва – Третий Рим» становится уже общим местом.

Не оказав непосредственного влияния на внешнюю политику Российской империи, эта доктрина послужила материалом для строительства философских систем Владимира Соловьева и Николая Бердяева. В них идея «Москва – Третий Рим» трактовалась как свидетельство исконного «русского мессианства», ключ к пониманию национальной психологии. После революции Бердяев выдвинул тезис о том, что истоки большевизма следует искать не только в марксизме, но и в русском мессианстве, что и было подхвачено после Второй мировой войны на Западе наиболее консервативными кругами. Объяснение «советского империализма» давними претензиями России на роль «Третьего Рима» в те годы можно было встретить и в ученых трудах, и в политической публицистике, звучало оно и в Госдепартаменте (49, с. 427). Хотя историки и развенчали эту «теорию», она до сих пор остается востребованной журналистами и политическими комментаторами, оставаясь крайне полезным риторическим инструментом.

Тем не менее определяющей в развитии научных исследований России / СССР за рубежом стала все же либерально-универсалистская линия, которая воплотилась, в частности, в теории модернизации. Уверенность в том, что Россия идет тем же путем, что и Западная Европа, но лишь немного «запаздывает», широко распространенная во второй половине XIX в., была свойственна и русским историкам-эмигрантам. По существу, она и была концептуально оформлена в теории модернизации – в частности, в популярной работе У. Ростоу о стадиях экономического роста (51).

Идеи прогресса и развития, в основе своей европоцентристские, в 1950–1960-е годы стали «идеологией» программ помощи странам, проходившим процесс деколонизации. Эти страны Третьего мира, не присоединившиеся к Первому (капиталистическому) и Второму (социалистическому), получили на Западе название слаборазвитых (позднее – развивающихся). Им следовало помочь в ускоренном порядке пройти этапы экономического развития до конечного пункта – общества массового потребления. Тогда считалось, что достижение определенных экономических показателей при помощи таких инструментов, как свободный рынок, автоматически приведет и к демократии. Затем эти наивные представления уступят место

более глубоким культурно ориентированным подходам; идеи модернизации (или же вестернизации) будут подвергнуты критике теоретиками зависимого развития и окончательно развенчаны постколониальными исследованиями, всерьез взявшимися за прогрессизм и европоцентризм.

Однако до окончания холодной войны «Запад» сохранял свои претензии на роль эталона, олицетворением которого служили США. К давно установившимся политическим нормам (права личности и формы правления) были добавлены экономические: рыночная экономика и массовое потребление как главные приметы американской жизни. В противоположность «Востоку», декларировавшему построение коммунизма (а прозрачность такого будущего была очевидна), Америка фактически уже достигла своей исторической цели. Оставалось только распространить либеральную демократию по всему миру. Исходя из такого понимания исторического процесса, Фрэнсис Фукуяма и возвестил в свое время о «конце истории» (28). Победа экономического и политического либерализма считалась неизбежной, и сторонники теории конвергенции не сомневались, что Второй мир рано или поздно присоединится к Первому. Что касается стран Третьего мира, то они рассматривались обеими сверхдержавами исключительно как потенциальные союзники, которых следовало перетянуть на свою сторону. Так что условное трехчастное разделение мира отнюдь не сглаживало жесткую оппозицию «Запад–Восток».

В разгар холодной войны социально-политический концепт «Запад» оставался размытым и абстрактным. Критики тогда отмечали, что «на языке политинформации Вашингтона» термин «Запад» включает в себя крайне разнообразную в географическом отношении группу стран, в том числе и азиатские (55, с. 20–21). В то же время он стал особенно политизированным и идеологизированным. Конфронтация двух систем была очень глубокой и почти всеобъемлющей: то, что одной из сторон представлялось идеалом и образцом для подражания, другая считала абсолютно неприемлемым и подвергала уничтожительной критике. На языке базовых оппозиций это выглядит как смена полюсов. Поскольку при социализме общественное безусловно было «выше» и «лучше» личного, частная собственность и индивидуализм приобретают исключительно негативные коннотации, а свободному рынку теперь противопоставляется плановое хозяйство («Дорога к рабству», если вспомнить книгу Хайека).

И все же, несмотря на идеологические противоречия, сохраняли свое значение универсальные ценности прогресса, понимаемого как поступательное движение к лучшей жизни. Обе сверхдержавы претендовали на роль «маяка» для всего человечества, и соревнование между ними не сводилось к гонке вооружений – оно разворачивалось в области науки и техники, культуры, социальных благ. В несимметричных, ценностно нагруженных оппозициях «цивилизация–варварство», «свобода–рабство»,

«прогресс–отсталость», где одна часть «лучше», «главнее», «превосходнее» другой, СССР без особых сомнений относил к себе «сильную часть». Свободный Советский Союз представлял тогда оплотом мира и прогресса для всех людей доброй воли.

Понятие прогресса получило во второй половине XX в. глубокую разработку, его критиковали и осмысливали ведущие умы человечества. Советская наука не внесла серьезного вклада в эти размышления, будучи к этому времени отрезанной от магистральных тенденций мировой мысли «железным занавесом». Впервые в своей новой истории Европа перестала быть единым культурным и дискурсивным пространством, разделившись на Западную и Восточную. «Железный занавес» оказался наиболее эффективен в сфере социальных и гуманитарных наук, и этот итог многолетней конфронтации имеет, пожалуй, самые далекоидущие последствия.

Безусловно, ситуация идеологического противостояния наносила большой вред зарубежным исследованиям СССР, хотя одновременно и стимулировала их. Русская история изучалась необыкновенно активно – пусть во многих отношениях и в зеркальной зависимости от советской историографии. Однако в большей степени исторические исследования за рубежом (прежде всего в США, где выпускалась львиная доля научной продукции) зависели от русской дореволюционной историографии и того видения истории как логически последовательного универсального процесса, который сложился в науке XIX в. Немалую роль играли и стереотипы, унаследованные от западноевропейской традиции, а также образы России, сформировавшиеся в США к началу XX в. (см. об этом: 5). С точки зрения сегодняшней антропологии в *Russian studies* присутствовал несомненный элемент «колониального» отношения к предмету изучения, особенно с учетом «инаковости» и несомненной экзотичности социалистического Советского Союза.

Принадлежность России, а уж тем более СССР к «Западу» считалась более чем проблематичной. Поэтому историки-русисты старшего поколения были склонны подчеркивать несовпадение российского и западноевропейского государственных устройств, самобытные черты особого облика страны, в чем-то притягательного, а в чем-то и отталкивающего. Пришедшие в науку в 1960–1970-е годы социальные историки принесли с собой дух критики и ревизионизма. Они оспаривали утвердившиеся в историографии стереотипы, клише и мифы о неуклонно беднеющем крестьянстве, об «отсутствующем» среднем классе, о «репрессивном» самодержавии и др. В результате в период холодной войны в зарубежной русистике сложился довольно обширный спектр интерпретаций истории России, среди них выделяются два историографических образа, определявших облик изучаемой страны. Один принадлежал в большей степени публичному дискурсу и был особенно привлекателен и полезен в периоды

обострения отношений между СССР и США. Другой был актуален для профессиональной сферы.

Первый образ может быть назван консервативным и в конечном счете антисоветским. Это образ самобытной России, «вековечной» Руси, подчёркивавший российскую исключительность и выпячивавший деспотические черты в ее прошлом и настоящем. Он рисует «особый путь» исторического развития страны неевропейской, лежащей между Востоком и Западом, в силу чего в ней присутствует целый ряд «азиатских» черт. Тоталитарный Советский Союз предстал очередным воплощением этой «вечной» России – бедной, отсталой страны, где народ находится под постоянным гнетом верховной власти.

Второй образ следовало бы определить как «европейский». Он основан на либеральном прогрессистском видении истории и сосредоточен главным образом на России императорского периода. В соответствии с логикой теории модернизации «настоящая» история начинается с реформ Петра I, представлявших собой радикальный разрыв с московской «традицией». Особое внимание уделяется второй волне модернизации – Великим реформам, последующей индустриализации и краткому «парламентскому эксперименту». Всё это – вехи на пути, который проходят все страны в ходе исторической эволюции.

А дальше начинаются разночтения. Для одних, как и для русских историков-эмигрантов (наиболее очевидный пример – работы Мартина Малиа, любимого ученика М.М. Карповича), история России на этом заканчивается и начинается трагедия. Для других, в том числе для социальных историков-ревизионистов, начинается лишь новый этап: советское общество с колоссальными издержками двигалось по пути модернизации, догоняя своих более развитых соседей. Предполагалось, что рано или поздно Советский Союз путем реформирования достигнет той стадии социального и экономического развития, когда различия с постиндустриальными обществами Запада перестанут быть значимыми. В 1980-е годы к этому образу добавился дополнительный штрих: специалисты по дореволюционному периоду обратились к концепции гражданского общества, споря о том, было ли оно в России и если было, то каким. Но все сходилось во мнении, что демократическое будущее России немислимо без развития этого института (см.: 1).

Однако несмотря на все различия между историками разных поколений и различных политических взглядов, в противоборствующих трактовках было много общего. Во-первых, в основе всех интерпретаций лежала европоцентристская и прогрессистская схема исторического развития с присущими ей детерминизмом и телеологией. Во-вторых, все эти исследования носили нормативный характер. Ни левые радикалы, при всем их критическом отношении к американскому истеблишменту, ни тем

более либералы и консерваторы не сомневались: у исторического развития есть конечная цель, к которой стремится всякая страна, идущая по пути прогресса – парламентская демократия западного типа, достигающая своего полного развития в национальном государстве. С этой точки зрения оценивались особенности тех или других обществ: помогают ли они достижению заветной цели или, наоборот, уводят от нее? Поэтому западные русисты были склонны выявлять в истории России «препятствия» и «дисбалансы», равно как и «отсутствие» (прямо по Монтескье) важных институтов, ценностей и традиций, которые трактовались либо как признак российской самобытности, либо как атрибуты отсталости, присущие всем модернизирующимся странам.

Кроме того, в зарубежной историографии России наряду с наиболее общими представлениями о системных чертах, определявших историческое развитие страны (суровый климат, обширная территория, деспотизм власти и пассивность населения, коллективизм русского крестьянства), долгое время присутствовал целый набор характеристик Российского государства и общества, которые не ставились под сомнение, но оценивались, однако, по-разному. Единодушно признавалось, например, что в России всегда было очень сильное государство. Но сторонники концепции самобытности подчеркивали его репрессивную роль и говорили о самодержавном деспотизме, а приверженцы теории модернизации видели в государстве главный двигатель прогресса, инициатора реформ, которые должны были привести страну к конституционализму (2, с. 24–25).

Центральную роль в историографии времен холодной войны играла революция 1917 г. Ее считали либо трагедией, завершившей чрезвычайно краткий период демократического развития и ввергнувшей страну в пропасть тоталитаризма, либо неизбежным результатом структурных дисбалансов, накопившихся к началу XX в. в бурно модернизирующейся отсталой стране. Окончание холодной войны и распад Советского Союза, когда, как писали, «исчез результат» революции, подвели черту под этой историографией (20, с. 846). Наступили новые времена критики и интеллектуальных поисков, активной работы в открывшихся для зарубежных исследователей архивах. В этих условиях рождался новый историографический образ России, принадлежащий XXI в. Причем создавался в изменившемся научном контексте, когда социально-политический концепт «Запад» утратил свою аналитическую ценность для профессиональных ученых, сохранившись, однако же, в публичном дискурсе (29, с. 2).

Время поиска и выбора

С окончанием холодной войны социально-политический концепт «Запад» подвергся серьезнейшему реформатированию. Страны бывшего

Восточного блока и Прибалтика провели новые границы, отделившись от «неудобного соседа», и официально перестали принадлежать к Восточной Европе. Теперь это страны Центрально-Восточной Европы (СЕЕ), большинство из них – члены НАТО и Евросоюза, что свидетельствует об их стремлении принадлежать и к Атлантическому миру, и к Европе. России они дружно относят к «Востоку», используя проверенную стратегию ориентализации «Другого» для выстраивания своей европейской идентичности (см.: 22).

Преемница Советского Союза Россия утратила статус сверхдержавы и перестала быть для «Запада», значительно расширившего границы своей воображаемой географии, значимым «Другим». В 1990-е годы считалось, что Россия скоро присоединится к клубу демократических стран, в чем ей следует помочь посредством уже известных механизмов (рыночная экономика и институты гражданского общества). Однако с наступлением нового тысячелетия стало ясно, что перспективы превращения России в национальное государство со всеми его либеральными институтами более чем проблематичны; она явно встала на путь имперского строительства.

В то же время в 1990-е годы происходят глубокие изменения в представлениях о мире, вступившем в новую фазу своего развития. В первую очередь это коснулось профессионального дискурса, где идея прогресса из составной части общей картины мира превратилась в объект научного анализа. Философы, социологи, историки, культурологи и, конечно же, специалисты в области постколониальных исследований анализировали историю возникновения этой идеи, ее роль в формировании представлений об окружающем мире и в утверждении власти европейцев над колониями¹.

Несмотря на резкое усиление консервативной мысли, предупреждающей о «столкновении цивилизаций», идет постепенное избавление от европоцентризма, наблюдается отказ от нормативного подхода, который подмечал лишь нехватку либо отсутствие в той или иной стране важных условий для европеизации. Прежде биполярный мир становится единым, условные границы и барьеры растворяются. Возникает стремление видеть сложность и взаимосвязанность явлений, множественность исторических путей, а не однолинейность «развития», признавать ценность каждой культуры, не прилагая к ней аршин европейского превосходства (24, с. VIII–X).

Вполне закономерно, что в этом интеллектуальном климате победившей политкорректности в зарубежной историографии начинает складываться новый образ России. Он позитивен, поскольку вместо поисков

¹ Судя по базе данных ProQuest, пик диссертационных исследований этой проблемы в англоязычном мире приходится на 1990-е – начало 2000-х годов, составив несколько тысяч наименований. Затем интерес к ней начинает убывать.

причин «провала» страны, не преуспевшей в «гонке за лидером», историки обратились к рассмотрению ее богатой истории и культуры. Можно было бы даже сказать, что Россию вернули в семью европейских наций, если бы не тот факт, что она чаще всего рассматривается теперь в русле имперской парадигмы – как одна из континентальных империй (наряду с Османской и Габсбургской). СССР при этом больше не изображается «империей зла» или оплотом тоталитаризма (эта теория считается как минимум нерелевантной), а все более глубоко изучается на материалах архивов. О «принижении» нашей страны в зарубежной русистике и речи нет, так что стрелы критиков, пытающихся разоблачить очередных «фальсификаторов» отечественной истории, летят мимо цели. Что же касается публичного дискурса, то здесь консервативный образ «извечной Руси» по-прежнему остается востребован.

В сегодняшней России критика «Запада» тоже разворачивается именно в публичном дискурсе. Голоса профессионалов не слышны, да и не будут услышаны. Как и почти 200 лет назад, «Запад» вновь стал для России конституирующим «Другим», в отталкивании от которого предпринимаются попытки активизировать ощущение собственной идентичности. На мой взгляд, суть сегодняшних споров заключается в том, что если условные «западники» видят некую цель, к которой следует стремиться, то «особый путь», предназначенный России славянофильствующими консерваторами, никаким путем не является. Он подразумевает возвращение к мифическим «истокам» и замирание в высокодуховной идиллии. Фактически это борьба между движением и статикой, хотя с точки зрения историософии можно говорить о противостоянии либерального понимания исторического процесса как линейного движения консервативному, т.е. циклическому. Рискну выдвинуть предположение, что нынешнее обострение сражений с условным «Западом» обусловлено не только совершенно определенными геополитическими и макроэкономическими обстоятельствами, но прежде всего тем, что кризис идеи прогресса наконец докатился и до нас и приобрел такую парадоксальную на первый взгляд форму.

Однако критика «загнивающего Запада» звучит в сложный период: само понятие «западной цивилизации» в условиях глобализации значительно релятивизировалось, да и самоощущение европейцев и американцев более не покоится на идеях дискриминации и принижения «Другого». При этом геополитические реалии все упорнее напоминают нам о тех ключевых моментах истории XIX и XX вв., когда понятие «Запад» становилось определяющим в международных отношениях. Не случайно в кардинально новых условиях кризиса Европы, захлестываемой волнами беженцев с «Востока», европейское политическое воображение опять занято Россией и Турцией.

И все же не дело историка анализировать сегодняшнюю ситуацию, которая к тому же меняется буквально ежеминутно – оставим это специалистам. Тем не менее, основываясь на знаниях о прошлом, можно поставить ряд вопросов, способных в чем-то прояснить настоящее. Насколько значимым «Другим» является Россия для Запада, на глазах утрачивающего свою целостность? Выступит ли она тем мобилизующим фактором, который объединит распадающееся политическое и культурное единство Европы и США? И какую роль может сыграть здесь профессиональный дискурс? Возможно, предложенная система координат позволит несколько иначе посмотреть на происходящее сегодня и в нашей стране, и в мире.

Список литературы

1. Большакова О.В. Власть и политика в России XIX – начала XX века: Американская историография. – М.: Наука, 2008. – 263 с.
2. Большакова О.В. Поверх барьеров: Американская русистика после холодной войны / РАН. ИНИОН. – М., 2013. – 238 с.
3. Вульф Л. Изобретая Восточную Европу. – М.: НЛЮ, 2003. – 548 с.
4. Долинин А.А. Гибель запада: К истории одного стойкого верования // К истории идей на Западе: Русская идея. – СПб.: Петрополис, 2010. – С. 26–76.
5. Журавлева В.И. Понимание России в США: Образы и мифы. 1881–1914. – М.: РГГУ, 2012. – 1140 с.
6. Карпович М. О русском мессианстве // Новый журнал. – Нью-Йорк, 1956. – Кн. 45. – С. 274–283.
7. Лихачев Д.С. Национальное самосознание Древней Руси. – М.;Л.: Изд-во АН СССР, 1945. – 118 с.
8. Минути Р. Образ России в творчестве Монтескье // Европейское Просвещение и цивилизация России / Отв. ред. Карп С.Я. – М.: Наука, 2004. – С. 31–41.
9. Струве Г. Русский европеец: Материалы для биографии и характеристики князя П.Б. Козловского. – Сан-Франциско: Дело, 1950. – III, 164 с.
10. Токвиль А. де. Демократия в Америке / Пер. с фр. – М.: Прогресс, 1992. – 559 с. Оригинал: Tocqueville A. de. De la démocratie en Amérique. – Vol. 1. – P., 1835; Vol. 2. – P., 1840.
11. Ульянов Н.И. Комплекс Филофея // Новый журнал. – Нью-Йорк, 1956. – Кн. 45. – С. 249–273.
12. Хархордин О. Основные понятия российской политики. – М.: НЛЮ, 2011. – 321 с.
13. Цивилизация и варварство: Трансформация понятий и региональный опыт / Отв. ред. Буданова В.П., Воробьева О.В. – М.: ИВИ РАН, 2012. – 350 с.
14. Цыкова К.А. Россия второй половины XIX – начала XX в. в трудах Анатолия Леруа-Болье: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. – М., 2005. – 25 с.
15. Adamovsky E. Euro-Orientalism: Liberal ideology and the image of Russia in France (c. 1740–1880). – Oxford; N.Y.: Peter Lang, 2006. – 358 p.
16. Adamovsky E. Euro-Orientalism and the making of the concept of Eastern Europe in France, 1810–1880 // The journal of modern history. – Chicago, 2005. – Vol. 77, N 3. – P. 591–628.
17. Banerjee A. We modern people: Science fiction and the making of Russian modernity. – Middletown: Wesleyan univ. press, 2012. – VIII, 206 p.
18. Bavaj R. The West: A conceptual exploration. – Mode of access: http://ieg-ego.eu/en/threads/crossroads/political-spaces/political-ideas-of-regional-order/riccardo-bavaj-the-west-a-conceptual-exploration/?searchterm=oriental%20despotism&set_language=en

19. Burbank J. Revisioning imperial Russia: Conference report // *Slavic rev.* – Chicago, 1993. – Vol. 52, N 3. – P. 555–567.
20. Confino M. Present events and the representation of the past: Some current problems in Russian historical writing // *Cahiers du monde russe.* – P., 1994. – Vol. 35, N 4. – P. 839–868.
21. David-Fox M. Showcasing the great experiment: Cultural diplomacy and Western visitors to Soviet Union, 1921–1941. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2012. – XII, 396 p.
22. East and West: History and contemporary state of Eastern studies / Ed. by Malicki J., Zasztowt L. – Warsaw: Studium Europy Wschodniej, 2009. – 335 p.
23. Emmons T. Russia then and now in the pages of «American historical review» and elsewhere: A few centennial notes // *American historical review.* – Wash., 1995. – Vol. 100, N 4. – P. 1136–1149.
24. Enduring Western civilization: The construction of the concept of Western civilization and its «Others» / Ed. by Federici S. – Westport: Praeger publishers, 1995. – XVI, 210 p.
25. Engerman D. Know your enemy: The rise and fall of America's Soviet experts. – Oxford; N.Y.: Oxford univ. press, 2009. – X, 459 p.
26. Engerman D. Modernization from the other shore: American intellectuals and the romance of Russian development. – Cambridge: Harvard univ. press, 2003. – 399 p.
27. Evtuhov C. Guizot in Russia // *Cultural gradient: The transmission of ideas in Europe, 1789–1991* / Ed. by Evtuhov C., Kotkin S. – Lanham, 2003. – P. 55–72.
28. Fukuyama F. The end of history and the last man. – N.Y.: Free Press, 1992. – XXIII, 418 p.
29. Germany and «the West»: The history of a modern concept / Ed. by Bavaj R., Steber M. – N.Y.; Oxford: Berghahn books, 2015. – X, 317 p.
30. GoGwilt Chr. True West: The changing idea of the West from the 1880 s to the 1920 s // *Enduring Western civilization: The construction of the concept of Western civilization and its «Others»* / Ed. by Federici S. – Westport, 1995. – P. 37–62.
31. Gorer G., Rickman J. The people of Great Russia: A psychological study. – L.: Cresset press, 1949. – 235 p.
32. Hagen M. von. Empires, borderlands and diasporas. Eurasia as anti-paradigm for the post-Soviet era // *American historical review.* – Wash., 2004. – Vol. 109, N 2. – P. 445–468.
33. Halecki O. Borders of Western civilization: A history of East Central Europe. – N.Y.: Ronald press, 1952. – XVI, 503 p.
34. Halperin Ch. Muscovy as a Hypertrophic state: A critique // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history.* – Bloomington, 2002. – Vol. 3, N 3. – P. 501–507.
35. Heller P. The Russian dawn: How Russia contributed to the emergence of «the West» as a concept // *The struggle for the West: A divided and contested legacy* / Ed. by Browning C.S., Lehti M. – N.Y., 2010. – P. 33–52.
36. Kappeler A. Between science and politics: The German-language historiography of Russia during the 20th century // *East and West: History and contemporary state of Eastern studies* / Ed. by Malicki J., Zasztowt L. – Warsaw, 2009. – P. 41–60.
37. Keller W. East minus West = zero: Russia's debt to the Western world, 862–1962 / *Trans. from German.* – N.Y.: Putnam, 1962. – 384 p.
38. Kingston-Mann E. In search of the true West: Culture, economics, and the problem of Russian development. – Princeton, 1999. – XIII, 301 p.
39. Kirby D. Divinely sanctioned: The Anglo-American Cold War alliance and the defence of Western civilization and Christianity, 1945–48 // *Journal of contemporary history.* – L., 2000. – Vol. 35, N 3. – P. 385–412.
40. Kivelson V. On words, sources, and historical method: Which truth about Muscovy? // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history.* – Bloomington, 2002. – Vol. 3, N 3. – P. 487–499.
41. Leroy-Beaulieu A. L'empire des tsars et les russes. – P.: Hachette. – T. 1: Le pays et les habitants. – 1881; T. 2: Les institutions. – 1882; T. 3: La religion. – 1889.

42. Malia M. *Russia under the Western eyes. From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum.* – Cambridge: Harvard univ. press, 1999. – XII, 514 p.
43. Mariano M. *Remapping America: Continentalism, globalism, and the rise of the Atlantic community, 1939–1949 // Defining the Atlantic community: Culture, intellectuals, and policies in the mid-twentieth century / Ed. by Mariano M.* – N.Y.: Routledge, 2010. – P. 71–87.
44. Minuti R. *Oriental despotism // European history online (EGO), published 2012-05-03.* – Mode of access: http://ieg-ego.eu/en/threads/models-and-stereotypes/the-wild-and-the-civilized/rolando-minuti-oriental-despotism/?searchterm=None&set_language=en.
45. Molho A., Wood G.S. *Introduction // Imagined histories: American historians interpret the past.* – Princeton, 1998. – P. 3–20.
46. Neumann I.B. *Uses of the other: «The East» in European identity formation.* – Minneapolis: Univ. of Minnesota press, 1999. – XV, 281 p.
47. Novick P. *That noble dream: The «objectivity question» and the American historical profession.* – Cambridge: Cambridge univ. press, 1988. – XII, 648 p.
48. Poe M. *A people born to slavery. Russia in Early Modern ethnography, 1476–1748.* – Ithaca: Cornell univ. press, 2000. – XI, 293 p.
49. Poe M.T. *Moscow, the Third Rome: The origins and transformations of a «Pivotal Moment» // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas.* – Wiesbaden, 2001. – H. 49, Bd 3. – S. 412–429.
50. Poe M. *The truth about Muscovy // Kritika: Explorations in Russian and Eurasian history.* – Bloomington, 2002. – Vol. 3, N 3. – P. 473–486.
51. Rostow W.W. *The stages of economic growth.* – L.; N.Y.: Cambridge univ. press, 1960. – IX, 178 p.
52. Said E. *Orientalism.* – N.Y.: Pantheon, 1978. – XI, 368 p.
53. Shanin T. *The idea of progress // The post-development reader / Ed. by Rahnama M., Bowtree V.* – L.: Zed books, 1997. – P. 65–71.
54. Steel R. *How Europe became Atlantic: Walter Lippmann and the new geography of the Atlantic Community // Defining the Atlantic Community: Culture, intellectuals, and policies in the mid-twentieth century / Ed. by Mariano M.* – N.Y.: Routledge, 2010. – P. 13–27.
55. Szeftel M. *The historical limits of the question of Russia and the West // Slavic review, 1964.* – Vol. 23, N 1. – P. 20–27.
56. Wallace D.M. *Russia: 2 vols.* – L.: Cassel and Co, 1877–1878.
57. Wittfogel K. *Oriental despotism: A comparative study of total power.* – New Haven: Yale univ. press, 1957. – XIX, 556 p.

В.П. МАКАРЕНКО

ВО ЧТО ВЕРИТЬ: В МЫСЛЬ ИЛИ В ГОСУДАРСТВО?

Заметки о книге:

Щедрина Т.Г. Архив эпохи: Тематическое единство русской философии. – М.: РОССПЭН, 2008. – 391 с.

Любить Родину – значит говорить правду.
Т.А. Марченко

Спустя три с небольшим месяца после установления советской власти Александр Бенуа записал в дневнике: все значение России станет позитивно-действенным с того момента, «когда она в значительной степени войдет в состав других политических организмов. Я верю в русскую мысль, а не в русское государство». Жена требовала как можно быстрее «уехать, покинуть эту ужасную страну. Я-то это знал всегда, – резонирует Бенуа, – но она только теперь начинает понимать весь ужас – быть русскими гражданами»¹. Проблема «конфронтации» верований и страха в ответ на реальное бытие русских людей существует и сегодня, сто лет спустя после того, как ее сформулировал выдающийся художник и искусствовед.

Жители нашей страны до сих пор, к удивлению ее хулителей, не разбежались, а наши руководители все еще претендуют на статус «исторических личностей». Поэтому сформулирую проблему на языке Альберта Хиршмана: каковы личные мотивы и внешние причины лояльности, критики и разрыва эмоциональных, политических и духовных связей с Россией всех – мертвых, живых и еще не рожденных – индивидов²? Надгробные камни, кресты и звезды над могилами всех отечественных кладбищ, а также холодные цифры статистики вынужденного бегства и добровольной эмиграции из России за сто лет как нельзя лучше свидетельствуют о важности проблемы. Я думаю, всякое честное слово на эту тему никогда не

¹ Бенуа А. Дневник. 1918–1924. – М.: Захаров, 2010. – С. 34, 71.

² См.: Макаренко В.П. Проблема общего зла: Расплата за непоследовательность. – М.: Вузовская книга, 2000; Хиршман А. Выход, голос и верность. – М.: Новое издательство, 2009.